

СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Л. П. Иванова
Национальный педагогический университет
имени М. П. Драгоманова

ФЕНОМЕН РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

В статье рассматривается эмиграция как феномен, когда люди (в данном случае представители творческой интеллигенции Советской России) порвали с родными корнями, но не стали и не стремились стать немцами. Приводятся причины выбора именно Берлина (традиционно развитая книжная промышленность, поддержанные советским правительством книгоиздательство, русскоязычная периодика), оценка эмигрантами Германии и немцев (что дает основания для лингвоимагологического анализа), взаимоотношения в их среде, а также восприятие эмигрантами писателей и деятелей культуры из Советской России. Отдельное внимание уделяется А. Н. Толстому.

Ключевые слова: лингвоимагология, русский Берлин, эмиграция, А. Н. Толстой.

Феномен русской эмиграции начала XX в. еще не получил всестороннего научного освещения. Его изучали историки, литературоведы, философы, но отнюдь не лингвисты. Предметом интересных разысканий явилась речь эмигрантов в трудах Е. А. Земской и ее ближайших коллег, мы обращаемся к эмиграции с позиций лингвоимагологии [1]. Как неоднократно указывалось, лингвоимагология изучает имидж, образ одного народа или страны в восприятии другого. Мы в свое время писали о восприятии русскими Франции и французов, Англии и англичан, Германии и немцев. Русская эмиграция привлекла наше внимание по ряду причин. Во-первых, из России в рассматриваемый период эмигрировала прежде всего творческая интеллигенция – люди образованные, обладающие широким кругозором, часто талантливые, осели они прежде всего в Европе – Германии и Франции. Для сравнения отметим, что с Украины несколько ранее уезжали лесорубы, крестьяне, новую родину они обрели прежде всего в Канаде и США. Во-вторых, русский человек с большим трудом поддается ассимиляции, обычно

это дело нескольких поколений. В итоге получилось, что эмигранты рассматриваемого периода уже оторвались от родины, но не стали немцами, французами. Поэтому и на русских советских писателей они смотрят с указанных позиций: не совсем “свой”, но и не “чужой”, что дает основания заняться лингвоимагологическим анализом их наследия.

Материалом для анализа послужила книга “Русский Берлин” (составление, предисловие и персоналии В. В. Сорокиной. – М., 2003 – 368 с.): “Книга вводит читателя в круг важнейших тем культуры русской эмиграции в Берлине, знакомит с основными проблемами, волновавшими русских за рубежом. В ней представлены фрагменты воспоминаний (многие из них в нашей стране ранее не публиковались) о жизни в Берлине в первой половине 20-х гг. русских беженцев и советских подданных; свидетельства современников и биографов о русских издательствах, научной и педагогической деятельности, театральной жизни, деятельности русских писателей – А. Белого, А. Ремизова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Толстого, М. Горького, С. Есенина и других, газетные статьи, объявления и заметки, дающие представление об атмосфере, в которой находились русские в Берлине той поры” [2, с. 2].

Возникает вопрос: почему именно Берлин был выбран русскими эмигрантами? Совсем недавно закончилась первая мировая война, в которой Россия и Германия воевали друг с другом. Было очень много жертв. Неужели все забылось? В какой-то степени отвечает на этот вопрос И. Эренбург: “Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим – и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: “...мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине <...> я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин – город отвратительных памятников и встревоженных глаз” [2, с. 67] – восприятие противоречивое: положительная оценка сочетается с характеристикой “отвратительных памятников”. Любовь В. В. Маяковского к Германии никак не аргументируется – она просто есть:

Сегодня

Хожу

по твоей земле, Германия,

и моя любовь к тебе

расцветает все романнее и романнее [2, с. 67].

Обращает на себя внимание окказионализм, обыгрывающий омоним роман – литературный жанр и любовные отношения, причем он дается в сравнительной степени и повторяется дважды, что усиливает впечатление.

Любовный роман предполагает взаимность, по всей вероятности, советский поэт рассчитывает именно на такие отношения.

В середине века грянет Великая Отечественная война. Она тоже предчувствуется. И. Эренбург продолжает: “Кругом был Берлин с его длинными унылыми улицами, с дурным искусством и прекрасными машинами, с надеждой на революцию и выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья – слипшиеся пары.

И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары...

Жди: резкий ветер дунет в окарино

По скважинам громоздкого Берлина –

И грубый день взойдет из-за домов

Над мачехой российских городов.

Понять “мачеху российских городов” было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло 20 лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии” [2, с. 70].

Закономерен вопрос: зачем же ехать в такой город? Если уж непременно необходимо эмигрировать, то почему в Берлин? Европа велика, есть еще Америка и Канада.

В разделе “Издательства и журналы” (автор не указан) читаем: “Одна из причин массового “исхода” интеллигенции и деятелей культуры в Берлин заключалась, помимо прочего, в таком факторе, как традиционно развитая в Германии книжная промышленность. С совершенной полиграфической базой, которая сложилась еще в XIX в. и не пострадала во время первой мировой войны. Лучшие книги прославленных европейских авторов часто впервые выходили в Лейпциге и Берлине. И русские писатели, среди которых можно упомянуть И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, стремились издать свои произведения в Германии. До первой мировой войны в Берлине существовало издательство И. П. Ладыжникова, печатавшее небольшими тиражами книги русских писателей. Россия не подписала Бернской конвенции об авторских правах, поэтому издание книг за границей являлось способом сохранить тем или иным писателем авторское право” [2, с. 120].

Сформировался русский Берлин, в некоторой степени субсидируемый Советской Россией: “Поддержанная в первые годы революции А. М. Горьким идея З. И. Гржебина о создании собственного российского книгоиздательства за границей, где полиграфическая база считалась лучшей, была принята и даже субсидирована Советским правительством. Благодаря этому в Берлине начали выходить книги с указанием места издания “Берлин-Петроград” и направляться в первую очередь на российский рынок. Общую редакцию печатной продукции этого издательства осуществляли А. М. Горький,

А. Бенуа, акад. С. Ф. Ольденбург и проф. А. П. Пинкевич. В отделе русской литературы сотрудничали А. Блок, М. Горький, В. А. Десницкий, Е. И. Замятин, Н. О. Петнер, К. И. Чуковский.

Издательством выработан план дешевого, но в то же время тщательно текстологически выверенного и отвечающего самым высоким требованиям издания русских классиков. Было завершено четырехтомное Собрание сочинений Лермонтова и десяти томное – Гоголя. На очереди стояли собрания сочинений Пушкина, Л. Толстого, Тютчева, Тургенева, Чехова, Достоевского.

Не столь благополучно обстояли дела с публикацией современной русской литературы: вышли только тома Бальмонта, Бунина, Сологуба. Издательство З. И. Гржебина занималось также выпуском книг для детей и современной западноевропейской литературы – Р. Роллана и Б. Келлермана” [2, с. 123].

“При советском представительстве в Берлине Московским совнархозом был основан научно-технический отдел под председательством проф. Н. М. Федоровского и с участием проф. Ю. В. Ломоносова. Одна из задач этого отдела явилась организация русского научно-технического издательства “Скифы”” [2, с. 127].

“Выходило несколько ежедневных русских газет: “Голос России”, беспартийная демократическая газета “Руль” под ред. И. В. Гессена, сменовеховская газета “Накануне”. Кроме эмигрантских периодических изданий в Берлине печаталась ежедневная коммунистическая газета “Новый мир”, издаваемая советским полпредством” [2, с. 127].

Возвратимся к рассматриваемой ситуации. В. Швейцер описывает ее так: “Возникали и рушились многочисленные литературные предприятия: газеты, альманахи, издательства, журналы, сборники... Возникали и рушились дружбы, романы, семьи... Русский Берлин жил напряженной лихорадочной жизнью. Он был полон людьми самых разных направлений и устремлений. Политические эмигранты, для которых путь в Россию был отрезан, соседствовали с полуэмигрантами, стоявшими на распутье и готовившими возможность возвращения в Советскую Россию. Было – как никогда больше – много советских, выпущенных в командировки или для поправки здоровья” [2, с. 244–245].

Н. Берберова с горечью пишет о хаосе и разброде в русской эмигрантской среде: “...в русском кабаке распевают цыганские романсы и ругают современную литературу – всех этих Белых и Черных, Горьких и Сладких, – где в дверях в ливрее стоит генерал Х., а подает камер-юнкер Z. Сейчас они еще раритеты, уники. Скоро их будет много. Париж и Лондон, Нью-Йорк и Шанхай узнают их и привыкнут к ним.

Прошлое и настоящее переплетаются, расплавляются друг в друге, переливаются одно в другое. Губернаторша и генерал, клянущие революцию, и поэт Минский, младший современник Надсона, приветствующий ее; едва унесшие ноги от революции “старые эмигранты”, т. е. социалисты царского времени, вернувшиеся к себе в Европу после того, как часок побыли на родине; и пионер велосипеда и фотографии Василий Иванович Немирович-Данченко – весь в бакенах, в пенсне на черной ленте, носящий перед собой круглый живот свой, нажитый еще в предыдущее царствование, и сообщаящий мне в первую же минуту знакомства, что он – второй после Лопе де Вега писатель по количеству им написанного (а третий – Дюма-отец). И Нина Петровская, героиня романа В. Брюсова “Огненный ангел”, брюсовская Рената в большой черной шляпе, какие носили в 1912 году, старая, хромя, несчастная. И писательница Лаппо-Данилевская (говорят, знаменитая была, вроде Вербицкой) пляшет в русском кабаке казачка с платочком вокруг вприсядку пошедшего “Серапионова брата” Никитина – впрочем, они не знакомы” [2, с. 49].

Горький сарказм автора эксплицирует целый ряд языковых средств. Во-первых, обыгрывание антропонимов-псевдонимов с опорой на их внутреннюю форму (Белый – Черный), множественное их число и даже созданный по их модели новый – Сладких. Во-вторых, контраст бывших званий и современных должностей (генерал стоит в ливрее), обозначение их греческими буквами, обычно используемыми во всякого рода перечислениях (X, Z). В-третьих, крайне насмешливая характеристика писателя В. И. Немировича-Данченко, создаваемая за счет местоимения *весь* (*весь в бакенах...*), *свой* (*живот свой*), описание живота, а также позиционирование писателя как второго после Лопе де Вега и опережающего Дюма-отца-третьего. В-четвертых, горькая ирония по поводу романтической “брюсовской Ренаты” – шляпа образца 1912 г., а также определения – старая, хромя, несчастная. В-пятых, разговорное слово “пляшет” и простонародный танец казачок относительно писательницы с вычурной фамилией Лаппо-Данилевская. Причем, каждый микротекст присоединяется при помощи союза и – прием цепного нанизывания, использовавшийся еще в летописях.

И. Эренбург подчеркивает неоднородность эмиграции, разброд: “”Скифы” были за Разина и Пугачева, цитировали то “Двенадцать”, то стихи Есенина о “железном госте”. Сменовеховцы говорили, что большевики – наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о “корнях” и о “традициях”, о “национальном духе”. А рядовые эмигранты, выпив в ресторане “Тройка” несколько стопок и услышав “Выплывают расписные...”, плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу” [2, с. 73].

Как и Н. Берберова, И. Эренбург явно презирает эмигрантов: разнородность пристрастий, закавыченные ценности (“корни, традиции” и т. д.), идентичность поведения в России и в эмиграции, в которую они “улепетывали” – слово разговорное, сниженное.

Общее мнение русской эмиграции о Европе сформулировал А. Белый (в передаче В. Андреева): “На Европу надвинулась ночь... Ядовитые газы войны ослепили Европу. Ослепленный разве видит тьму? А они и-н-т-е-р-е-с-у-ю-т-с-я (слово растянулось на две строчки печатного текста) кишками [речь идет о торговле вагоном кишок для колбасы – *Л. И.*]. В России я был голоден, я вымерз, как земля в тундре, до сих пор вечная мерзлота сидит во мне, но в России я жил и видел живых людей. Таких же промерзших, как я, но живых. А здесь, в Европе, даже великий Штейнер оказался обезьяной” [2, с. 201].

О различиях русской и западной интеллигенции аргументированно и ярко пишет Н. Берберова: “...когда интеллигенция поделена надвое до основания, тогда исчезает самая надежда на что-то похожее на единую, цельную и неразрывную во времени духовную цивилизацию и национальный умственный прогресс, потому что нет ценностей, которые уважались бы всеми. Как бы марксистски ни рассуждал современный француз – для него Валери всегда был велик. Как бы абстрактно ни писал американский художник Поллок – он был велик для самого заядлого мещанина и прагматика. На дом, где жил Уайльд, через 5-10 лет после его смерти прибывают мраморную доску, одной рукой запрещают, другой рукой издают сочинения Лоуренса, 12-тональную музыку стараются протащить в государством субсидируемые концертные залы – и кто же? Английские, американские, немецкие чиновники. Так идет постепенно признание того, что коробило и ужасало людей четверть века тому назад, мещан, которые в то же время – опора государства. Это – посильная борьба западной интеллигенции – через власть – со своим национальным мещанством.

У нас интеллигенция в тот самый день, когда родилось это слово, уже была рассечена надвое: одни любили Бланки, другие – Бальмонта. И если вы любили Бланки, вы не могли ни любить, ни уважать Бальмонта. Вы могли любить Курочкина, или, вернее, – Беранже в переводах Курочкина, а если вы любили Влад.Соловьева, то, значит, вы были равнодушны к конституции и впереди у вас была только одна дорога: мракобесие. Тем самым обе половины русской интеллигенции таили в себе элементы и революции, и реакции: левые политики были реакционны в искусстве, авангард искусства был либо политически реакционен, либо индифферентен. На Западе люди имеют одно общее священное “шу” (китайское слово, оно значит то, что каждый, кто бы он ни был и как бы ни думал, признает и уважает), и все уравнивают друг друга, и это равновесие есть один из величайших

факторов западной культуры и демократии. Но у русской интеллигенции элементы революций и реакции никогда ничего не уравнивали, и не было общего “шу”, потому, быть может, что русские нечасто способны на компромисс и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости” [2, с. 256–257].

В данном фрагменте особый интерес представляют прецедентные имена и прецедентные тексты, ставшие символами определенного мировоззрения, а с другой стороны – введение конфуцианской категории “шу”, что в литературе рассматриваемого периода было большой редкостью.

Отношение эмигрантов из России к Германии и немцам было крайне противоречивым. Безусловно признавались аккуратность, порядок, умение работать, но в то же время они же и высмеивались.

Р. Гуль пишет: “Немцы – народ, прирожденный дисциплине, иерархии, организованности, труду. В них нет стихий русского окаянства, к бессмысленному анархо-нигилистическому взрыву – “все поехало с основ” (который погубил Россию в 1917 г., ибо именно его оседлал Ленин для захвата власти, потакая с ума сошедшему “от свободы” народу) – немцы как народ не расположены. Этих чувств, этой тяги к “безграничной свободе” в немцах нет. “Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein” [человек не рожден быть свободным], – полагал Гете.

Революционная ситуация в Германии тоже проявлялась совсем иначе. Вот как ее увидел И. Эренбург: “В восточном и северном Берлине можно было порой услышать “Интернационал”. Там не торговали долларами и не оплакивали Кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо <...> я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки, но демонстрация заканчивалась ровно в два часа – время обедать <...> помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации – почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной” [2, с. 65].

Немцы старались соблюсти внешнюю благопристойность. “В кафе “Кости” прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: “Дайте ему настоящего кофе... истощение на почве хронического недоедания...”. Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно старательно работать” [2, с. 66].

А. М. Горький в письме из Берлина отмечал: “...мне хочется работать. Очень хочется. Здесь у немцев такая возбуждающая к труду атмосфера, они так усердно, мужественно и разумно работают, что, знаете, невольно чувствуешь, как растет уважение к ним, несмотря на “буржуазность”” [2, с. 252].

Свое настроение писатель подчеркивает парцеллированной конструкцией, а также характеристикой труда немцев, оформленной сложной синтаксической конструкцией.

В процессе приготовления пельменей в отельном ресторане Горький говорит: “Разве эти проклятые (выд. мной – Л. И.) немцы понимают что-либо в нашей российской еде!” [с. 269]. Когда же хозяин отеля предложил великому русскому писателю регулярно лепить пельмени для привлечения новых посетителей, “Алексей Максимович хохотал и говорил сквозь кашель: – Вот это нация! Учиться надо!” [2, с. 270].

Данный факт очень характерен. Признавая неоспоримые достоинства немецкой жизни и обычаев, в глазах наших эмигрантов они выглядят смешными. Показателен эпизод, описанный В. Ходасевичем: “Наша компания состояла из людей с большим чувством юмора, и нам не приходилось долго искать причин для смеха и веселья во время нашего путешествия. Немцы, сами того не подозревая, на каждом шагу представляли нам эти возможности, ибо они народ “серьезный”” [2, с. 265]. Кавычки в данном микротексте весьма красноречивы. Продолжим цитирование: “В первый маршрут входил Большой водопад, который нас и соблазнил. Итак, мы вошли в великолепный сосновый лес, в котором разделаны были чистенькие, выметенные дорожки, попадались скамейки, в большом количестве корзинки для мусора и масса надписей с указанием, как надо себя вести в лесу и как следовать по тем или иным маршрутам. Курить в лесу категорически воспрещалось, о чем взывали примерно через каждые сто шагов надписи. Каждое дерево на высоте метра от земли было опоясано-обмазано какой-то липкой черной массой – от насекомых-вредителей. Издали казалось, что на деревья надеты шины. Во всем проявлен такой порядок и так утомляли все надписи, что трудно было любоваться романтическими пейзажами с пропастями, скалами, обрывами, оврагами и пещерами. Уже не верилось ни в какие легенды и стихи, сочиненные в прошлом столетии и раньше великолепными романтиками немцами, вдохновленными этими местами” [2, с. 265–266].

Авторская ирония проявляется прежде всего в обилии уменьшительно-ласкательных суффиксов (*чистенькие, дорожки* и т. п.), местоимений *такой (порядок)*, и наречий (*так утомляли*). Хотя с сегодняшних наших позиций такой порядок в наших лесах был бы целесообразным.

Такое же амбивалентное отношение сложилось к немецкому языку. В. Андреев, например, вспоминает: “... я сказал, что не люблю немецкого языка, где отрицание ставится в самом конце длиннейшего периода, где смысл составных и уродливых слов вдруг перечеркивается взрывающимся, как бомба, “нихт”” [2, с. 238].

Отношение автора проявляется в эмоциональном оценочном “уродливые слова” и сравнению с бомбой.

Продолжим цитирование: “Пастернак посмотрел на меня с удивлением и сказал, что он говорит не о карикатуре на язык, а о настоящем языке, на котором был написан “Фауст”. Моей нелюбви к немецкому языку замечание Бориса Леонидовича не изменило, но все же, должен признаться, почувствовал я себя довольно глупо” [2, с. 238].

Обратим внимание на то, что прецедентными для русских эмигрантов были классические немецкие произведения, прежде всего романтические.

На поэзию русских поэтов-эмигрантов, как и на всю жизнь, наложила печать их раздвоенность: материальная жизнь в Берлине, которой они не могли принять, душа же оставалась в России, приводило к таким высказываниям и оценкам. В. Андреев: “... заниматься поисками нелегко, а на чужой земле, т. е. в мире, где говорят на другом языке, где неизбежно портится речь, где самые избитые языковые штампы и трафареты начинают казаться чем-то новым, – дело почти безнадежное” [2, с. 225].

Обратимся к творчеству А. Н. Толстого. Его весьма неоднозначно воспринимали в “Русском Берлине”. А. Бахрах отмечает: “Клуб несколько сторонился активных сменовеховцев и сотрудников газеты “Накануне”. Может быть, не столько из-за их несбыточных или же создаваемых иллюзий, сколько потому, что в их теориях, как и у литературного главаря Алексея Толстого, ощущалось больше приспособленчества, чем идеологии. Может быть, это было несправедливо, потому что за свои еретические идеи едва ли не все они заплатились жизнью или свободой, но, как бы там ни было, в отсутствие “железного занавеса” они своими действиями углубляли ров, оставшийся незасыпанным” [2, с. 88].

А. Н. Толстой именуется главарем, традиционно так именуются предводители банд, шаек и т. п., обретающихся в криминальном мире. Так же резко отрицательно оцениваются их “теории”, в которых было “больше приспособленчества, чем идеологий” – формируются контекстуальные антонимы: *идеология / приспособленчество*.

Сам писатель у эмигрантской литературы будущего не видел: “Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: “В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...” Он уже знал, что скоро вернется домой” (И. Эренбург) [2, с. 73].

Олицетворение эмиграции как злой силы, способной к резко отрицательному действию (*убить*), четко репрезентирует оценку А. Н. Толстого.

О взаимоотношениях в писательской среде свидетельствуют такие факты. Предыдущий микротекст принадлежит И. Эренбургу. Р. Гуль отмечает: “Толстой Эренбурга ненавидел, а когда-то были хороши <...> Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил не иначе, как с язвительной иронией – старомоден” [2, с. 143].

Тот же Р. Гуль “живописует” сценку: “Навстречу – Толстой. Яценко, смеясь, говорит: “Ну что, Алешка, выкинули тебя за “Накануне” из Союза писателей и журналистов?”. Толстой (он всегда был немножко актер, и хороший актер) удивленно уставился на Яценко, будто даже не понимая, о чем тот говорит. Потом харкнул – плюнул на тротуар, проговорив: “Je m’en fous. Да что такое вся эта эмиграция?.. Это, Сандро, пердю монокль – и только...” Свое самарско-французское изобретение – *perdu monocle* – Толстой употреблял часто с самыми разными оттенками” [2, с. 141].

В данном микротексте привлекает внимание следующее: 1) резко отрицательная оценка А. Н. Толстым эмиграции, проявляющаяся в “самарско-французском изобретении” писателя, в котором прослеживается игра словом на базе межъязыковой омонимии, в чем, несомненно, проявляется писательский талант “изобретателя”; 2) фамильные взаимоотношения, создающиеся за счет антропонимов *Алешка, Сандро*; 3) оценка Р. Гулем актерского дара А. Н. Толстого (тавтология в рамках четырех слов); 4) описание отнюдь не светских манер графа (*харкнул – “плюнул на тротуар”*), такое поведение не характерно для немцев.

Интересно, что во всех описаниях А. Н. Толстого ничего не говорится о его портрете (сравним глаза и волосы А. Белого, на которые все обращали внимание), скорее привлекают внимание мемуаристов его манеры и жизненные пристрастия: “...художественно-талантлив Толстой был необычайно. Во всем – писании, в разговоре, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике тяга была к самому густопсовому мещанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубашкам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому “полному комфорту”. Помню, Толстой, рассказывая что-то смешное Яценко, сам говорил: “Признаюсь, Сандро, люблю “легкую и изящную жизнь” (это он произносил в нос, изображая фата), для хорошей жизни и сподличать могу”, – и он заразительно-приятно хохотал барским баритоном” (Р. Гуль) [2, с. 140].

Оценка мемуариста отрицательная. Во-первых, трижды повторяется один и тот же корень, характеризующий образ писателя (*барин, барский облик, барский баритон*). Во-вторых, резко негативная характеристика морально-этических качеств А. Н. Толстого (*тяга к самому густопсовому*

мещанству... и хамоватости, тяга к духовности не ночевала). В-третьих, непонимание и непризнание “страсти” к шелковым рубашам (не к сорочкам!), невероятным рыжим (не терракотовым!) ботинкам. В то же время, по всей вероятности, А. Н. Толстой обладал большим обаянием, потому что даже строгому его критику нравились “заразительно-приятный хохот” и артистическое изображение фата.

Так же “амбивалентно” оценивает А. Н. Толстого Н. Берберова: “Толстой был хороший рассказчик, чувство юмора его было грубовато и примитивно, как и его писания, но он умел самый факт сделать живым и интересным, хотя, слушая его, повествующего о визите к зубному врачу, рассказывающего еврейские или армянские анекдоты, рисующего картину, как “два кобеля” (он и Ходасевич) поехали в гости к третьему (Горькому), уже можно было предвидеть, до какой вульгарности опустится он в поздних своих романах... Я с удивлением смотрела, как он стучит по “ремингтону”, тут же, в присутствии гостей, в углу гостиной, не переписывает, а сочиняет свой роман, уже запроданный в Госиздат. И по всему чувствовалось, что он не только больше всего на свете любит деньги тратить, но и очень любит их считать, презирает тех, у кого другие интересы, и этого не скрывает” [2, с. 255–256].

В данном микротексте оцениваются четыре грани писателя: во-первых, подчеркивается артистичность (хороший рассказчик, умел факт сделать живым и интересным), во-вторых, юмор его видится “грубоватым и примитивным” и даже обобщение “как и его писания”, в которых он “опустится до вульгарности”; в-третьих, удивительная (“я с удивлением смотрела...”) работоспособность; в-четвертых, несоответствие традиционного отношения к деньгам русских интеллигентов: “больше всего на свете любит деньги тратить”, противительные отношения “но и очень любит их считать”, “презирает тех, у кого другие интересы”. Отношение к деньгам оформлено присоединительной конструкцией с союзом “и”.

По словам его пасынка, оценка окружающих А. Н. Толстого совершенно не трогала: “Весной 1922 г. начали появляться в эмигрантских газетах злобные и ругательные статьи, посвященные отчиму. Он не обращал на них никакого внимания. Это – замечательное свойство отчима: полное равнодушие и отсутствие какого-либо интереса как к ругательствам, так и к хвалебным высказываниям на его счет” (Ф. Крандиевский) [2, с. 250].

Судя по контексту, указанные статьи не анализ творчества, посвящены они личности А. Н. Толстого. Отметим, что главным достоинством литературной критики А. С. Пушкин считал то, что она не должна касаться именно личности автора. В эмигрантской среде все было иначе, о чем свидетельствует дважды повторенный корень “руг” (*ругательные статьи, ругательства*), определение статей как “злобных”. Создается впечатление,

что в сознании автора актуализировался прецедентный текст А. С. Пушкина: *“Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца”*.

Н. Берберова обратила внимание на работоспособность писателя. Действительно, по наблюдениям Р. Гуля, “В Берлине Толстой издал много своих книг. Он был необычайно трудолюбив, работал каждое утро, писал сразу на пишущей машинке, потом редактировал и переписывал. Ященко говорил, что Толстой при работе повязывал голову “ментоловыми компрессами”. Здесь он переиздал три тома прежних вещей (“Хромой барин”, “Лихие годы” и др.), издал: “Избранные сочинения”, “Повесть о многих превосходных вещах”, “Хождение по мукам” (ч. 1), “Аэлита”, “Рукопись, найденная среди мусора под кроватью”, “День Петра”, “Лунная сырость”, “Утоли моя печали”, “Китайские тени”, “Любовь – книга золотая”, “Горький цвет”, “Нисхождение и преображение” и др.” [2, с. 141–142].

Удивительную плодовитость А. Н. Толстого Р. Гуль объясняет “необычным трудолюбием” и подкрепляет перечнем изданных в эмиграции книг. Оценка весьма положительная.

Не менее плодотворно работал писатель на родине, вернувшись из эмиграции.

Подытоживая, отметим, что в Русском Берлине сложились сложные взаимоотношения, однако кипела культурная жизнь: в Доме искусств выступали писатели и поэты, появлялись другие знаменитости, приезжал театр, развивалось книгоиздательство. Все факты мы описали в лингвоимагологическом аспекте: видение и оценка эмигрантами всех перечисленных фактов. Есть основания утверждать, что эмиграция – это специфическое мировидение, поскольку, оторвавшись от родных корней, эмигранты не то что ассимилировались в Берлине, а не приняли ни немецкий язык, ни немецкую культуру, иногда даже их ненавидели.

Закат Русского Берлина описал Р. Гуль: “Из газет в Берлине осталась одна ежедневная – “Руль”. Из журналов уцелел лишь “Социалистический вестник”, ибо был связан с немецкой социал-демократической партией. Русские театры закрылись. Издательства, одно за другим, умерли. Остался только “Петрополис”, выпускавший довольно много книг. Формально существовали еще два-три, но книг почти не выпускали. Общественные и научные организации одни прекращали свое существование, другие обеднели силами. Столица русского зарубежья перешла в Францию, в Париж. Но в четырех местах Западной Европы: в Чехословакии (Праге), в Латвии (в Риге), в Эстонии (в Ревеле) и в Югославии (в Белграде) – оставались еще русские культурные силы” [2, с. 337].

Л и т е р а т у р а :

1. *Иванова Л. П.* Русский Берлин в лингвоимагологическом аспекте / Людмила Петровна Иванова. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2017. – 180 с.
2. “Русский Берлин” / составл., предисл. и персоналии В. В. Сорокиной. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 368 с.

R e f e r e n c e s :

1. *Ivanova L. P.* Russkiy Berlin v linguoimagologicheskom aspekte [Russian Berlin in linguoimagological aspect]. – K. : Izd. dom D. Burago, 2017. – 180 s.
2. “Russkiy Berlin” [“Russian Berlin”] / sostavl., predisl. i personalii V. V. Sorokinoy. – M. : Izd-vo MGU, 2003. – 368 s.

Иванова Л. П. Феномен російської еміграції в лінгвоімагологічному аспекті.

У статті розглядається еміграція як феномен, коли люди (в даному випадку представники творчої інтелігенції Радянської Росії) порвали з рідними коренями, але не стали і не прагнули стати німцями. Наводяться причини вибору саме Берліна (традиційно розвинена книжкова промисловість, підтримані радянським урядом книговидавництва, російськомовна періодика), оцінка емігрантами Німеччини і німців (що дає підстави для лінгвоімагологічного аналізу), взаємини в їх середовищі, а також сприйняття емігрантами письменників і діячів культури з Радянської Росії. Окрема увага приділяється О. М. Толстому.

Ключові слова: лінгвоімагологія, російський Берлін, еміграція, О. М. Толстой.

Ivanova L. P. The phenomenon of the Russian emigration in the linguoimaleological aspect.

The report considers emigration as a phenomenon when people (in this case, representatives of the creative intelligentsia of Soviet Russia) broke with their native roots, but did not become Germans and did not seek to. The reasons for choosing Berlin (the traditionally developed book industry, the book publishing industry supported by the Soviet government, the Russian-language periodicals), the evaluation by emigrants of Germany and Germans (which gives grounds for linguistic and mathematical analysis), the relationship in their environment, as well as the perception of emigrants by writers and cultural figures from Soviet Russia. Special attention is paid to A. N. Tolstoy.

He spent several years in Berlin, but returned to his homeland, where he became a famous Soviet writer. During his stay in Russian Berlin, virtually all the specific features of the phenomenon of emigration. First, he was ambiguously perceived by emigrants, he was criticized for opportunism. Second, the writer himself did not see the future of emigre literature. Third, A. N. Tolstoy was at loggerheads with his compatriots. Fourth, the writer was very prolific and created a number of works in exile, but his main works were published in the homeland.

Keywords: linguoimaleology, Russian Berlin, emigration, A. N. Tolstoy.